



**Г. В. ПЛЕХАНОВ**

**Н. А. Некрасов**

Verschiedenen Zeitaltern wird eine verschiedene  
Begeisterung zu Teil\*.

Ф.-В. Шеллинг<sup>1</sup>

### Предисловие

Десятого января текущего года, в день 25-летия смерти Н. А. Некрасова, в Женеве состоялось русское собрание для чествования его памяти. Устроители собрания заранее предложили мне — вместе с г. А. — сказать на нем несколько слов, характеризующих ту или другую сторону литературной деятельности покойного поэта. Охотно приняв это предложение, я говорил на тему: «*Народ и интеллигенция в поэзии Н. А. Некрасова*». Несколько времени спустя мои товарищи попросили меня обработать мою речь для печати. Я делаю это теперь, кое в чем дополняя сказанное мною на собрании десятого января. Но так как моя работа, при всей скромности своих размеров, все-таки слишком велика для «Искры», — где первоначально предполагалось ее напечатать, — мы с товарищами решили выпустить ее отдельной брошюрой. Мне было бы очень приятно, если бы читатели согласились с моей оценкой поэта, сыгравшего крупную роль в истории развития нашего общественного самосознания.

Ознакомившись с содержанием моей брошюры, читатель без пояснений с моей стороны увидит, почему я посвятил ее *Донскому Комитету Российской Социал-Демократической Рабочей Партии*, руководившему одним из самых замечательных проявлений освободительной борьбы русского пролетариата.

Г. Плеханов

Женева, 10 марта 1903 года

---

\* Различным эпохам дано вдохновляться по-разному (нем.). — Ред.

## (Посвящается Донскому Комитету Рос. С.-Д. Р. Партии)

Наш гениальный критик В. Г. Белинский писал одному из своих московских друзей о Некрасове: «Что за талант у этого человека, и что за топор его талант!»<sup>2</sup> Эта восторженная похвала не лишена некоторой двусмысленности. Топор — очень полезное орудие труда; он составляет одно из первых по времени культурных приобретений человека. Но вещи, сделанные топором, обыкновенно неизящны; недаром мы говорим: «*топорная работа*». И надо признать, что произведения Некрасова часто представляют собою именно такую работу. Я помню, как однажды, заспорив со мною о «Русских женщинах», покойный Всеволод Гаршин, очень невысоко ставивший поэтический талант Некрасова и резко осуждавший тогда (в годы студенчества) «*тенденциозность*» его поэзии, с насмешкой продекламировал:

Покоен, прочен и легок  
На диво слаженный возок...<sup>3</sup>

Несмотря на все свое пристрастие к поэту «*мести и печали*», я вынужден был согласиться, что «*возок*» плохо рифмуется с «*легок*». Некрасов, наверно, и сам чувствовал, что тут дело идет не совсем ладно; однако он не только не смутился этим, но несколько ниже повторил:

Покоен, прочен и легок  
Катится городом возок...

Подобные антиэстетические погрешности у Некрасова попадают на каждом шагу. Его стих не гладок или, как он сам характеризовал его, *тяжел и неуклюж*. Его язык редко бывает звучен. Людям, воспитанным в эстетических преданиях сороковых годов и избалованным роскошной музыкой стихов Пушкина и Лермонтова, должны были резать ухо шипящие звуки вроде вот этих:

От *ликующих*, праздно *болтающих*,  
*Обагряющих* руки в крови  
Уведи меня в стан *погибающих*...

и т.д.<sup>4</sup>

Это очень неблагозвучно. Но это еще только полбеда; это касается только стиха, т.е. *внешности*, так сказать, *поверхности* поэтического произведения. Беда заключается в том, что стихотворения Некрасова

очень часто не удовлетворяют художественным требованиям *даже по своему внутреннему строению*. Для примера я укажу на одно из самых знаменитых и, по-своему, самых замечательных его произведений — на «Размышления у парадного подъезда». Вспомните это место:

А владелец роскошных палат  
Еще сном был глубоким объят...  
Ты, считающий жизнью завидною  
Упоение лестью бесстыдною,  
Волокитство, обжорство, игру, —  
Пробудись! Есть еще наслаждение:  
Вороти их! В тебе их спасение!  
Но счастливые глухи к добру...  
Не страшат тебя громы небесные,  
А земные ты держишь в руках,  
И несут эти люди безвестные  
Неисходное горе в сердцах...<sup>5</sup>

Это благородно и красноречиво; но, к сожалению, это не более как *красноречивая проза* (злые языки говорили: *риторика*). Поэзии тут нет никакой, и потому все это место, так сильно заставлявшее биться тысячи и тысячи русских сердец (и тем убедительно доказавшее, что в нем была не одна «риторика»), не только не украшает стихотворение, а прямо портит его, и было бы гораздо уместнее в *статье* или — еще лучше — в *речи*. Прозаический элемент вообще был очень силен в поэзии Некрасова, что и подало повод называть ее *тенденциозной*. Но дело тут собственно не в тенденциозности, а просто в том, что поэтический талант Некрасова был недостаточно силен и — это, может быть, главное — недостаточно пластичен\*. Повторяю, топор представляет собою очень полезное орудие труда, но топорная отделка оставляет желать лучшего.

---

\* Под тенденциозностью чаще всего понимают искажение действительности в угоду предвзятой идее. *Такой* тенденциозности в поэзии Некрасова совсем не было (если не считать некоторых «неверных звуков», вырванных у его музы тяжелыми политическими условиями России, которым он по временам подчинялся больше, чем это было позволительно, даже с точки зрения мирного обывателя). Но иногда на счет тенденциозности относят то, что объясняется именно недостаточной пластичностью поэтического дарования. Человек не справляется со своими поэтическими образами, и потому в его стихотворение врывается *проза*. Это большой недостаток. Но происходит он часто не от желания искажать действительность, и к тому же сам по себе он вовсе не ведет к ее искажению: *проза* не значит *ложь*: прозаическое описание может быть *вполне точно*.

А в пользу, принесенной нашему общественному самосознанию «топорным» талантом Некрасова, теперь уже нельзя сомневаться и почти бесполезно о ней распространяться. Некрасов явился поэтическим выразителем целой эпохи нашего общественного развития. Эта эпоха начинается выступлением на нашу историческую сцену образованного «разночинца» («интеллигенции» тож) и оканчивается появлением на этой сцене *рабочего класса, пролетариата* в настоящем смысле этого слова. Кто интересуется нравственным или идейным содержанием этой замечательной эпохи, тот найдет в поэзии Некрасова богатейший материал для его характеристики.

Поэзия и вся изящная литература предшествовавшей общественной эпохи была у нас преимущественно *поэзией высшего дворянского сословия*. Я говорю «преимущественно», так как были блестящие исключения из этого общего правила; достаточно назвать Кольцова. Но эти *исключения* всеми встречались именно как исключения и поэтому подтверждали общее *правило*.

Что такое Евгений Онегин? Образованный русский дворянин «в гарольдовом плаще». Что такое Печорин? Тоже образованный дворянин и в том же плаще, только на другой лад скроенном. А что такое герои разных «Дворянских гнезд» Тургенева? Что такое действующие лица «Войны и мира» или «Анны Карениной», все эти Куракины, Болконские, Безухие, Ростовы, Вронские, Облонские, Левины и т. д., и т. д.? Все это — кость от костей, плоть от плоти нашего дворянского сословия.

В произведениях Толстого «народ» фигурирует только мимоходом и только в той мере, в какой он нужен художнику для того, чтобы изобразить душевное состояние героя-дворянина: припомните, например, солдата Платона Каратаева, вносящего мир в метущуюся душу графа Петра Безухого. У Тургенева, в его «Записках охотника», народу — крестьянину — отводится уже гораздо более широкое место. Но хотя «Записки охотника» сыграли довольно крупную и благотворную роль в духовном развитии нашего «общества», однако не они характеризуют собою талант Тургенева и не они определяют собою содержание его художественного творчества. «Записки охотника» не помешали Тургеневу остаться таким же бытописателем «дворянских гнезд» и таким же истолкователем душевной жизни их обитателей, какими были Пушкин, Лермонтов, Толстой и многие-многие другие звезды меньших величин. Называя их всех бытописателями дворянских гнезд, указывая на их дворянскую точку зрения, я этим вовсе не хочу сказать, что они были ограниченными сторонниками сословных привилегий, бессердечными защитниками эксплуатации крестьянина дворянином. Совсем нет! Эти люди были по-своему очень добры и гуманны, а угне-

тение крестьян дворянами резко осуждалось, — иногда, по крайней мере, — некоторыми из них. Но дело вовсе не в этом. Как бы ни были добры и гуманны эти наши великие художники, несомненно все-таки то, что дворянский быт изображается у них не со своей отрицательной стороны, т. е. не с той стороны, с которой обнаружилось бы противоречие интересов дворянства с интересами крестьянства, а с той, с которой это *противоречие совсем незаметно* и с которой дворянин, живший более или менее суровой эксплуатацией крестьянина, все-таки оказывается человеком, способным понимать и переживать многие важнейшие человеческие чувства: стремление к истине, искание серьезного общественного дела, жажду борьбы, любовь к женщине, наслаждение природой и т. п., и т. п. Поскольку обитатели «дворянских гнезд» способны были испытывать эти чувства, постольку они и интересовали художника, а отношение этих людей к подчиненному им сословию или совсем обходилось в художественном произведении, — мы совсем не знаем, например, как относился к своим крестьянам Печорин, — или изображалось одной-двумя чертами: Онегин заменяет в своем имении легким оброком «ярем барщины старинной»; Петр Безухий строит для своих крепостных школы и больницы; Андрей Болконский переводит некоторых из них в вольные хлебопашцы, — или, наконец, местами изображается в них почти идиллическими красками. Напомню святочные забавы в рязанском имении графов Ростовых, Отрадном: крепостные слуги наравне со своими господами участвуют в этих забавах, изображенных с таким неподражаемым, несравненным искусством. Рисуя отрадненскую идиллию, Толстой вовсе не задавался целью что-нибудь скрыть или скрасить: об отрадненских крепостных он вовсе и не думал. Его внимание сосредоточено было на изображении любви Николая Ростова к Софье, а участие крепостных в святочных забавах изображено им совершенно мимоходом и просто потому, что нельзя было не изобразить его: вышло бы несогласно с действительностью. Если же нарисованные им бытовые сцены оказываются настоящей идиллией, то это не вина художника и не его заслуга. Что же было ему делать, если такие идиллические сцены имели место, несмотря на все ужасы крепостного права? Толстому, конечно, хорошо было известно существование этих ужасов. Но рисовать их он не видел ни малейшей надобности, так как его героями были не крепостные люди, а благовоспитанные, по-своему добрые аристократы, которые *непосредственного* отношения к названным ужасам вовсе даже и не имели.

Зная наш крепостной быт и дополняя своей собственной фантазией то, что не было досказано художником, мы можем не без основания предположить, что тот или другой из отрадненских крепостных, забавлявшихся на Святках вместе с молодыми господами, был очень

скоро после того подвергнут позорному наказанию на конюшне. Но ведь наказывали не молодые господа, не Наташа, не Соня, не Николай и даже не старый граф Ростов. Наказаниями в Отрадном распоряжался управляющий Митенька. Стало быть, Толстому нечего было и толковать о наказаниях; у него речь шла именно о господах: о Наташе, Соне, Николае, старом графе и т. д. В дворянских романах, хотя бы и многотомных, мало было места для изображения народного горя\*.

У Гоголя «дворянские гнезда» изображаются, конечно, далеко не в таком привлекательном свете, как у Толстого или у Тургенева. Но если Гоголь больно бичует Собакевичей, Поздрых, Маниловых и т. п., то и он все-таки мало занимается Селифанами, Петрушками, дядями Митями и другими представителями угнетенного сословия. Его мысль, тоже мало останавливалась на психологии «крещеной собственности».

У Некрасова мы видим уже совсем другое. Изображению народного горя посвящены все его наиболее известные произведения. А на дворянские гнезда эти произведения проливают совсем-таки непривлекательный свет. Уже в одной из самых ранних своих стихотворений, именно в так сильно нравившемся Белинскому стихотворении «Родина», Некрасов говорит:

И вот они опять знакомые места,  
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,  
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,  
Разврата грязного и мелкого тиранства;  
Где рой подавленных и трепетных рабов  
Завидовал житью последних барских псов,  
Где было суждено мне Божий свет увидеть,  
Где научился я терпеть и ненавидеть,  
Но, ненависть в душе постыдно притая,  
Где иногда помещиком бывал и я...<sup>6</sup>

\* Интересная подробность. Объезжая русские позиции накануне Шенграбенского сражения, князь Андрей Болконский натолкнулся на сцену телесного наказания солдата. Один из присутствовавших при этой сцене офицеров, видимо, испытывая нравственное страдание, вопросительно смотрит на князя, но... «князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту» и не обратил на истязание солдата ни малейшего внимания. Не занимается им и граф Толстой, ограничивающийся неожиданным замечанием, что наказываемый кричал «притворно». Почему — притворно, это остается его тайной.

Толстой говорит где-то (кажется, в своей «Исповеди»), что для него, в течение большей части его жизни, людьми в настоящем смысле этого слова были только так называемые благовоспитанные люди, а все прочие были — «так»... Это интересное признание; за его справедливость ручаются все самые замечательные произведения Толстого. И оно проливает яркий свет на психологию художника-аристократа.

Это стихотворение, написанное еще в 1846 году, ясно определяет нам ту точку зрения, с которой Некрасов смотрит на наш старый помещичий быт. Хотя он сам был дворянского происхождения, но у него нет уже и следа идеализации дворянской жизни: он глядит на нее глазами протестующего разночинца. Она повернулась к нему своей *отрицательной* стороной, ярко выставив перед ним противоречие интересов «благородных» эксплуататоров с интересами эксплуатируемой «черни». Если поэт и вспоминает иногда о своей принадлежности к «благородному» сословию, то лишь затем, чтобы упрекнуть себя за те периоды нравственной слабости, в течение которых он, постыдно затаив «ненависть» в своей душе, сам бывал помещиком. Впечатления юных лет не оставили ничего отрадного в его душе и до краев наполнили ее враждою к крепостному порядку:

Нет! В юности моей, мятежной и суровой,  
Отрадного душе воспоминанья нет!  
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,  
Проклятьем на меня легло неотразимым, —  
Всему начало здесь, в краю моем родимом!  
И с отвращением кругом кидая взор,  
С отрадой вижу я, что срублен темный бор, —  
В томящий летний зной защита и прохлада, —  
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,  
Понутив голову над высохшим ручьем,  
И на бок валится пустой и мрачный дом,  
Где вторил звуку чаш и гласу ликований  
Глухой и вечный гул подавленных страданий,  
И только тот один, кто всех собой душил,  
Свободно и дышал, и действовал, и жил...<sup>7</sup>

Я сказал, что кого интересует идейное и нравственное содержание эпохи образованного разночинца, тот непременно должен обратиться к поэзии Некрасова. И в самом деле, приведенный отрывок, — а я мог бы привести много таких отрывков, — представляет собой интересный образчик той психологии нового, только что нарождавшегося тогда общественного слоя, не поняв которой, мы не поймем ни так резко обнаружившегося впоследствии разрыва «детей» с «отцами», ни добролюбовских нападок на *самодуров*, ни даже писаревского «разрушения эстетики». Все эти многообразные черты одной и той же физиономии выражают собою одно и то же настроение, и *все* они коренятся в том резко отрицательном отношении к нашему крепостному порядку, которым насквозь пропитана поэзия Некрасова. Заметьте, что отрицание не ограничивается в ней одним только *крепостным правом*

или вообще одним помещичьим бытом. Нет, образованный разночинец отрицает и ненавидит всю совокупность общественных отношений, *выросшую на почве закрепощения крестьянина*. Он враждебен дворянству; но и чиновничество не заслуживает пощады в его глазах. Он видит в чиновнике лишь другую, более прожорливую и низкопоклонную разновидность эксплуататора. Некрасов клеймит его в своей, полной беспощадного сарказма «Колыбельной песне»:

По губернии раздался  
 Всем отрядный крик:  
 Твой отец под суд попался —  
 Явных тьма улик.  
 Но отец твой — плут известный —  
 Знает роль свою.  
 Спи пострел, покуда честный,  
 Баюшки-баю.

Передового разночинца не привлекает к себе *служебная карьера*. Если еще Чацкий находил, что служить значит прислуживаться, то теперь передовая «интеллигенция» видит в службе школу полнейшего нравственного развращения:

Будешь ты чиновник с виду  
 И подлец душой,  
 Провожать тебя я выйду  
 И махну рукой!  
 В день привыкнешь ты картинно  
 Спину гнуть свою...  
 Спи, пострел, пока невинный! Баюшки-баю.

Политическая идея строя, выросшего на крепостной основе и, к сожалению, до сих пор не отошедшего в область исторического воспоминания, состояла и состоит в том, что мозгом страны является бюрократия, которая ведает все общественные нужды и удовлетворяет их в той мере, в какой признает их законными. Обывателям остается при этом ведать лишь свои частные нужды, вовсе не мешаясь в дела общественные или мешаясь в них лишь постольку, поскольку это разрешено благотельной и предусмотрительной бюрократией. *Обыватель*, в котором пробуждается сознание обязанностей *гражданина*, до сих пор считается неблагонадежным и нередко попадает в места довольно «отдаленные». В стране неограниченной власти бюрократии и безграничного произвола администрации гражданам нечего делать. Такова *теория*. Правда,



*практика* давно перестала соответствовать ей в том смысле, что уже с конца XVIII века в России появляются люди, стремления которых резко противоречат казенному идеалу. Новиков, Радищев, декабристы, Герцен, Огарев, Белинский, петрашевцы умели смотреть несравненно дальше узкого круга своих домашних интересов и ни за что не хотели «позорить гражданина сан». Но пока старый порядок еще не был распатан неудержимым ходом экономического развития, эти «странные» люди представляли собою чрезвычайно отрадное, но очень редкое исключение, были теми одинокими ласточками, которые не делали весны, и сами задыхались в тяжелой атмосфере всеобщей спячки. «Зачем мы проснулись!» — с отчаянием восклицает Герцен в своем дневнике.

Только когда экономическое развитие распатало основы крепостного порядка и выдвинуло на нашу историческую сцену целый слой образованных разночинцев, только тогда началось у нас почти непрерывное общественное движение во имя более или менее прогрессивных, более или менее широких гражданских идеалов. Чем более препятствий встречалось на пути этого движения, тем решительнее выбивались его участники из колеи обыденных житейских занятий и тем очевиднее становилось для них, что их житейская специальность заключается в том, чтобы вовсе не иметь никакой житейской специальности, кроме специальности гражданина-борца за лучшее будущее своей страны. Некрасову делает очень большую честь то обстоятельство, что он, который сам борцом никогда не был, своим поэтическим чутьем понял психологию нового общественного типа. Уже в стихотворении «Поэт и гражданин» (1856 г.) мы встречаем у него следующие выразительные строки:

Ах! будет с нас купцов, кадетов,  
Мещан, чиновников, дворян,  
Довольно даже нам поэтов,  
Но нужно, нужно нам граждан!  
Но где ж они? Кто ни сенатор,  
Ни сочинитель, ни герой,  
Ни предводитель, ни плантатор,  
Кто гражданин страны родной?  
Где ты? откликнись! Нет ответа,  
И даже чужд душе поэта  
Его могучий идеал!  
Но если есть он между нами,  
Какими плачет он слезами!

До какой степени самому Некрасову не был чужд могучий идеал гражданина, показывает другое место того же стихотворения:

Не может сын глядеть спокойно  
 На горе матери родной,  
 Не будет гражданин достойный  
 К отчизне холоден душой,  
 Ему нет горше укоризны...  
 Иди в огонь за честь отчизны,  
 За убеждение, за любовь...  
 Иди и гибни безупречно;  
 Умрешь не даром... Дело прочно,  
 Когда под ним струится кровь.

В другом месте, обращаясь к матери, которая грустно задумалась об участи, ожидающей ее трех отроков-сыновей, поэт говорит:

Не плачь над ними, мученица-мать!  
 Но говори им с молодости ранней:  
 Есть времена, есть целые века,  
 В которые нет ничего желанней,  
 Прекраснее тернового венка!..<sup>8</sup>

Тут поэзия Некрасова, никогда не бывшего *революционером*, становится *революционной поэзией*, и неудивительно, что отрывки, подобные только что приведенному, заучивались наизусть русскими передовыми людьми. Такие отрывки нисколько не утратили своего значения до настоящего времени и не утратят его до тех пор, пока передовое человечество останется вынужденным силой пролагать себе дорогу к своему идеалу. А оно, как видно, еще не скоро избавится от этой необходимости, потому что обещанного «критиками марксизма» притупления общественных противоречий что-то нигде не заметно.

Каковы же те убеждения, за которые гражданин должен идти в огонь и, если понадобится, пролить свою кровь? В поэтических произведениях вообще странно было бы искать точно сформулированных социально-политических требований. Но, выражая стремления передового русского разночинца, поэзия Некрасова все-таки ставит перед *гражданином* довольно определенную общественную задачу. Задача эта заключается в избавлении русского народа от многообразного гнета, наложенного на него нашим старым, как я уже сказал, до сих пор еще далеко не совсем устраненным, *крепостным порядком*. Как представлялось Некрасову положение русского народа, хорошо видно из цитированного уже мною стихотворения «Размышления у парадного подъезда»:

Родная земля!  
Назови мне такую обитель,  
Я такого угла не видал,  
Где бы сеятель твой и хранитель,  
Где бы русский мужик не стонал.  
Стонет он по полям, по дорогам,  
Стонет он по тюрьмам, по острогам,  
В рудниках на железной цепи;  
Стонет он под овинком, под стогом,  
Под телегой, ночуя в степи;  
Стонет в собственном бедном домишке,  
Свету Божьего солнца не рад;  
Стонет в каждом глухом городишке  
У подъездов судов и палат.  
Выдь на Волгу: чей стон раздается  
Над великою русской рекой?  
Этот стон у нас песней зовется:  
То бурлаки идут бечевой.  
Волга! Волга! весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля!  
Где народ, там и стон...

В служении этому несчастному народу, в борьбе с порабощающей и угнетающей его «неправдою лукавой» и заключается первая обязанность гражданина, первый долг мыслящего сына земли, не могущего «глядеть спокойно на горе матери родной»:

Доля народа,  
Счастье его,  
Свет и свобода —  
Прежде всего!<sup>9</sup>

Это служение угнетенному народу, эта борьба за его освобождение составляет не только нравственную обязанность, но также и непреодолимую потребность честного и мыслящего человека:

Зрелище бедствий народных  
Невыносимо, мой друг,  
Счастье умов благородных —  
Видеть довольство вокруг...<sup>10</sup>

Совершенно так думала вся та самоотверженная «интеллигенция», которая уже с конца пятидесятых годов спрашивала себя: «что

*делать»* для того, чтобы вывести народ из его тяжелого положения, и для которой этот проклятый вопрос поныне остается самым жгучим, самым «проклятым» из всех вопросов. Ввиду этого делается совершенно понятным, почему эта интеллигенция не только зачитывалась стихами Некрасова, но и ставила его талант выше таланта Пушкина и Лермонтова: он давал поэтическое выражение ее собственным общественным стремлениям; его «муза мести и печали» была ее *собственной музой*.

В своем предисловии к русскому переводу романа фон Поленца «Крестьянин» гр. Л. Толстой высказывает сожаление о том, что за последние 50 лет сильно понизился вкус и здравый смысл русской читающей публики. «Проследить можно это положение по всем отраслям литературы, — говорит он, — но укажу только на некоторые, более заметные и мне знакомые примеры. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается), поэтическая слава переходит к весьма сомнительным поэтам — Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что значит то, что они пишут, и зачем они пишут».

Я не стану отмечать всех неточностей, содержащихся в этом отрывке. Здесь, как и во всех суждениях гр. Л. Толстого, слишком много прямолинейности и отвлеченности. Его слова интересуют меня теперь, однако, лишь в той мере, в какой они касаются Некрасова. Но с этой своей стороны они очень поучительны. Сказать, что Некрасов совершенно лишен поэтического дара, значит высказать мысль, ошибочность которой вполне очевидна. Хотя почти каждое стихотворение Некрасова *в целом* отличается — как я уже указывал — более или менее значительными погрешностями против требований строгого эстетического вкуса, но зато *во многих из них* можно найти места, ярко отмеченные печатью самого несомненного таланта\*. Л. Толстой не замечает этих мест, потому что ему вообще совершенно чуждо все настроение некрасовской музыки. Его собственное умственное и нравственное развитие шло путем, не имеющим ничего общего с тем, по которому двигалось умственное и нравственное развитие русского образованного разночинца. Л. Толстой — барин до конца ногтей даже

---

\* Есть у него, впрочем, и вполне безукоризненные вещи, например, хотя бы его знаменитый «Дядя Влас».

там, где он *кажется* революционером. В его отрицании нет ни одного атома революционных стремлений.

Вспомните некрасовскую «Песню» из «Медвежьей охоты»:

Отпусти меня, родная,  
Отпусти, не споря!  
Я не травка полевая,  
Я выросла у моря.  
Не рыбацкий парус малый,  
Корабли мне снятся.  
Скучно! в этой жизни вялой  
Дни так долго длятся.  
Здесь, как в клетке, заперта я,  
Сон кругом глубокий...  
Отпусти меня, родная,  
На простор широкий...

и т. д.

Вспомните это стихотворение и скажите, согласилась ли бы объявить его чуждым поэтического вдохновения одна из тех, до сих пор многочисленных у нас, девушек, которые рвутся на простор, — куда-нибудь «на курсы», в Петербург, в Москву, за границу, — и которым приходится встречать любвеобильное, нежное, но тем труднее преодолеваемое сопротивление со стороны матерей, отцов или вообще близких лиц. Тяжело огорчать этих лиц, трудно расставаться с ними, а между тем вялая домашняя жизнь делается все более и более нестерпимой, и все более и более величественными и привлекательными становятся образы тех «кораблей», которые носятся по «широкому раздолью» сознательной жизни и которые «снятся» молодому воображению. И вот молодая девушка начинает уверять своих близких, что только на одном из этих «кораблей» найдет она нравственное удовлетворение и что напрасно спорят с нею дорогие ей люди, — и эти-то ее речи Некрасов облакает в поэтическую форму: «отпусти меня, родная»!.. Как же ей не прийти в восторг от его стихотворения? И как же ей не полюбить самого поэта? А у Некрасова много стихотворений, так же удачно выражавших чувства молодых разночинцев. И вот почему молодые разночинцы просто-напросто не поняли бы человека, который вздумал бы доказывать им, что Некрасов не поэт! «Предоставьте нам судить об этом», — сказали бы они такому человеку и были бы *совершенно правы*.

В доказательство того, что Некрасов своими стихотворениями будил и выражал прогрессивные стремления современной ему передовой молодежи, я приведу одно воспоминание из моей личной жизни.

Я был тогда в последнем классе военной гимназии. Мы сидели после обеда группой в несколько человек и читали Некрасова. Едва мы кончили «Железную дорогу», раздался сигнал, звавший нас на фронтовое учение. Мы спрятали книгу и пошли в цейхгауз за ружьями, находясь под сильнейшим впечатлением всего только что прочитанного нами. Когда мы стали строиться, мой приятель С. подошел ко мне и, сжимая в руке ружейный ствол, прошептал: «Эх, взял бы я это ружье и пошел бы сражаться за русский народ!» Эти слова, произнесенные украдкой в нескольких шагах от строгого военного начальства, глубоко врезались в мою память; я вспоминал их потом всякий раз, когда мне приходилось перечитывать «Железную дорогу».

В служении народу Некрасов видит главную задачу гражданина. Поэтому народ становится главным героем главных его произведений. Однако что же мы узнаем; от него об этом его герое? Нам уже известно, что положение его крайне тяжело. Но этого нам мало. Нам хочется знать, что же делает он сам для облегчения своей участи?

На этот счет Некрасов сообщает нам очень мало утешительного. Его народ не умеет бороться и не сознает необходимости борьбы. Главной отличительной чертой этого народа является *вечное терпение*. Вот что, например, пишет Некрасов в 1858 году:

Пожелаем тому доброй ночи,  
Кто все терпит во имя Христа,  
Чьи не плачут суровые очи,  
Чьи не ропщут немые уста,  
Чьи работают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, науки,  
Предаваться мечтам и страстям;  
Кто бредет по житейской дороге  
В беспросветной, глубокой ночи,  
Без понятия о праве, о Боге,  
Как в подземной тюрьме без свечи<sup>11</sup>.

Нельзя вообразить ничего безотраднее такой картины. Это — последняя степень подавленности. *Такому* народу только и можно пожелать что «доброй ночи»: *проснуться* он неспособен. Некрасову, как видно, нередко приходит эта мысль; его «Размышления у парадного подъезда» оканчиваются вопросом:

...Эх, сердечный!  
Что же значит твой стон бесконечный?  
Ты проснешься ль, исполненный сил,

Иль, судеб повинуюсь закону,  
Все, что мог, ты уже совершил, —  
Создал песню, подобную стону,  
И духовно на веки почил?..

Два года спустя, в 1860 году, Некрасов, в стихотворении «На Волге», рисует бурлака, который поражает его все тем же бесконечным терпением и все той же тупой неподвижностью мысли:

Унылый, сумрачный бурлак!  
Каким тебя я в детстве знал,  
Таким и ныне увидал:  
Все ту же песню ты поешь,  
Все ту же ляжку ты несешь,  
В чертах усталого лица  
Все та ж покорность без конца...  
Отец твой сорок лет стонал,  
Бродя по этим берегам,  
И перед смертью не знал,  
Что заповедать сыновьям.  
И, как ему, не довелось  
Тебе наткнуться на вопрос:  
Чем хуже был бы твой удел,  
Когда б ты менее терпел?..

Некрасов знает, что характеры людей складываются под влиянием окружающей их общественной среды, и нисколько не обманывает себя насчет свойств той среды, в которой складывался русский народный характер:

Прочна суровая среда,  
Где поколения людей  
Живут и гибнут без следа  
И без урока для детей!<sup>12</sup>

Впоследствии, когда «суровая среда» утратила часть своей прочности под напором «новых веяний» шестидесятых годов и когда даже самые трезвые представители радикальной интеллигенции, напр. Н. Г. Чернышевский, не чужды были самых радужных ожиданий, у Некрасова является более отрадный взгляд на русский народ. Ему уже не приходит в голову тяжелое сомнение относительно его будущности; напротив, будущность эта рисуется его воображению в светлых красках. Он восклицает в «Железной дороге», написанной в 1864 году:

Да не робей за отчизну любезную...  
 Вынес достаточно русский народ,  
 Вынес и эту дорогу железную —  
 Вынесет все, что Господь ни пошлет!  
 Вынесет все — и широкую, ясную  
 Грудью дорогу проложит себе...

Но старые впечатления еще слишком живы в поэте, чтобы счастливое будущее русского народа могло представляться ему *близким*. Нет, оно еще очень, очень далеко; до него не доживет ни сам поэт, ни даже тот мальчик Ваня, с которым он разговаривает:

Жаль только — жить в эту пору прекрасную  
 Уж не придется ни мне, ни тебе...

А настоящее все еще сохраняет в себе мрачные черты недавнего прошлого. Народ по-прежнему поражает своим терпением:

Мы надрывались под зноем, под холодом  
 С вечно согнутой спиной,  
 Жили в землянках, боролися с голодом,  
 Мерзли и мокли, болели цингой;  
 Грабили нас грамотеи-десятники,  
 Секло начальство, давила нужда,  
 Все претерпели мы,  
 Божии ратники,  
 Мирные дети труда!

И, — тоже по-прежнему, — обираемый и угнетаемый народ готов за жалкую подачку, за стакан водки чуть ли не боготворить своих притеснителей. Это, как видно, всего большее Некрасову, и только что цитированное мною стихотворение его заканчивается безотрадной сценой:

В синем кафтане — почтенный лабазник,  
 Толстый, присадистый, красный, как медь,  
 Едет подрядчик по линии в праздник,  
 Едет работы свои посмотреть.  
 Праздный народ расступается чинно...  
 Пот отирает купчина с лица  
 И говорит, подбоченясь картинно:  
 «Ладно... ништо... молодца... молодца!..  
 С Богом теперь по домам, поздравляю!  
 (Шапки долой, — коли я говорю!) —



Бочку рабочим вина выставляю  
И — недоимку дарю!..»  
Кто-то «ура» закричал. Подхватили  
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь  
— С песней десятники бочку катили...  
Тут и ленивый не мог устоять!  
Выпряг народ лошадей — и купчину  
С криком «ура» по дороге помчал...

Замечу мимоходом, что эта картина написана рукою истинного художника и что за нее одну можно простить Некрасову многие шероховатости и недостатки его «Железной дороги». Странно, как Л. Толстой мог пройти мимо такой сцены!

Семидесятые годы были у нас временем знаменитого «хождения в народ». Наша революционная интеллигенция надеялась, что ее пропаганда и агитация скоро вызовут всенародное восстание. Некрасов высоко ценил самоотверженность революционеров. Известно прекрасное стихотворение, написанное им, если не ошибаюсь, после «процесса пятидесяти», и начинающееся словами:

Смолкли честные, доблестно павшие,  
Смолкли их голоса одинокие,  
За несчастный народ вопившие...<sup>13</sup>

Но по всему видно, что он ни на минуту не мог поверить в возможность широкого революционного движения в народе. В том самом стихотворении, где он с таким глубоким чувством говорит об осужденных революционерах, он называет Россию безответной страной, в которой косится все честное и все живое. Народное восстание, вероятно, не испугало бы его своими так называемыми *ужасами*. Его «великий грешник», разбойничий атаман Кудеяр, который впоследствии пошел в монахи и на которого «некий угодник» наложил, в виде епитимьи, обязанность ножом срубить дуб в три обхвата, немедленно получил прощение грехов, когда вонзил свой нож в сердце жестокого помещика, пана Глуховского:

Только что пан окровавленный  
Пал головой на седло.  
Рухнуло древо громадное,  
Эхо весь лес потрясло.  
Рухнуло древо, скатилось  
С инока бремя грехов...<sup>14</sup>

Однако вопрос заключался не в том, как отнесся бы *сам Некрасов* к народному восстанию, а в том, возможно ли оно было при тогдашних обстоятельствах. Я сказал, что, по моему мнению, оно представлялось Некрасову совершенно немыслимым. Правда, у него выходит так, что весело и вольготно живется в России только тем представителям радикальной интеллигенции, которые жертвуют собой для народа:

Быть бы нашим странникам под родною крышею,  
Если б знать могли они, что творилось с Гришею...

Но в том-то и дело, что странники, — крестьяне разных деревень, порешившие не возвращаться домой, пока не решат, кому живется весело, вольготно на Руси, — не знали того, что творится с Гришею, и *не могли знать*. Стремления нашей радикальной интеллигенции оставались неизвестны и непонятны народу. Ее лучшие представители, не задумываясь, приносили себя в жертву его освобождению; а он оставался глух к их призывам и иногда готов был побивать их камнями, видя в их замыслах лишь новые козни своего наследственного врага — дворянства\*. И в этом заключалась великая трагедия истории русской радикальной интеллигенции. Некрасов *по-своему* пережил эту трагедию. Он, считавший себя призванным воспеть страдания русского народа, грустно говорит почти накануне своей смерти:

Скоро стану добычею тленья.  
Тяжело умирать, хорошо умереть;  
Ничьего не прошу сожаленья,  
Да и некому будет жалеть.  
Я дворянскому нашему роду  
Блеска лирой моей не стяжал;  
Я настолько же чуждым народу  
Умираю, как жить начинал<sup>16</sup>.

\* *Сознание народа определяется образом его жизни.* Экономическая основа русского царизма — прикрепление крестьян к земле, которая, в сущности, принадлежит государству, хотя находится в пользовании отдельных общин, была, как две капли воды, похожа на тот экономический фундамент, на котором покоились деспотии древнего Востока. Неудивительно, что нравы и взгляды русского народа тоже имели очень заметный восточный оттенок. «Святорусский богатырь» Савелий («Кому на Руси жить хорошо») — типичный крестьянин Востока. Читая его рассказ о том, как его родная «Корежина» уклонялась от платежа оброка своему помещику Шалашникову, невольно вспоминаешь «Manners and Customs of ancient Egyptians» <«Нравы и обычаи древних египтян» (англ.). — *Ред.*> Уилькинсона<sup>15</sup> (см. 2-й том, стр. 40 и след.; «The bastinado» <«Палочные удары». — *Ред.*>).

Грустный итог! Тяжелое сознание! И замечательно, что очень скоро после смерти Некрасова почти подобный же итог многие передовые люди увидели в результате своих просветительных усилий в крестьянстве. Некрасов умер 27 декабря 1877 года. А в конце 1879 г. тайно выходявшая в России революционная газета «Народная воля» объявила, что работать в народе при настоящих условиях — значит *биться, как рыба об лед*. Это было совершенно равносильно признанию того, что в конце семидесятих годов радикальная интеллигенция оставалась такою же *чуждою народу*, какой она была в ту эпоху, когда Некрасов «жить начинал».

Существующие условия делали невозможной революционную работу в народе; а без революционной работы в народе нельзя было надеяться на изменение к лучшему существующих условий, как это ясно показала неудача «Партии Народной воли», пытавшейся силами одной интеллигенции положить конец нынешнему нашему порядку вещей. Вся духовная история нашей радикальной интеллигенции сводится к усилиям разрешить это противоречие.

Теперь оно, к величайшему счастью, уже разрешено жизнью, т. е. тем самым ходом экономического развития, который сделал когда-то необходимыми реформы Александра II.

Теперь, под влиянием экономического развития, в нашем «народе» появился новый класс, несравненно более чуткий, подвижной, отзывчивый и нетерпеливый, нежели *то крестьянство*, которое надрывало сердце Некрасова своими *стонами* и доводило его до отчаяния своим *долготерпением*. Этот класс, — *класс пролетариев*, — очень недвусмысленно показывает нам, что он совсем не намерен «*почтительно*» предоставить высшим классам наслаждение всеми материальными и духовными благами жизни, ничего не оставляя на свою долю, кроме тяжелого физического труда. Русский пролетарий живет уже не в «*безрассветной, глубокой ночи*»: он, в лице лучших представителей своего класса, уже видит яркую зарю своего освобождения. Его «*суровые очи*» не «*плачут*»: они горят благородной жаждой борьбы с гордым сознанием своей силы. Его «уста» не остаются «*немыми*»: они зовут на битву. И странно было бы желать ему «*доброй ночи*», — ему, который стряхивает с себя тяжелый сон и бодро принимается за свою великую историческую работу.

С появлением пролетариата у нас началась новая эпоха, замечательная тем, что даже крестьянин не так неподвижен теперь, как был он при жизни Некрасова. Новые экономические отношения, заново переделывая нашу общественную, когда-то столь «прочную», среду, заново переделывают также и наш народный характер.

Некрасову не суждено было дожить до новой эпохи. Но если бы он дожил до нее, он увидел бы, что в современной России есть люди,

которым, несмотря ни на что, живется много веселее и гораздо вольготнее чем жилось его Грише: эти люди — работники, пролетарии, посвятившие себя борьбе за освобождение своего класса и *твердо убежденные в исторической неизбежности этого освобождения*.

А узнав и поняв этих, новых на Руси, людей, он, может быть, написал бы в их честь новую, вдохновенную «песню», не «*голодную*» и не «*соленую*», а *боевую*, — русскую марсельезу, в которой по-прежнему слышались бы звуки «*мести*», но зато звуки «*печали*» заменились бы звуками радостной *уверенности в победе*. С изменением народного характера изменился бы, может быть, и характер его музыки.

Но смерть давно уже скосила Некрасова. Поэт *разночинцев* давно уже сошел с литературной сцены, и нам остается ждать появления на ней нового поэта, *поэта пролетариев*.

